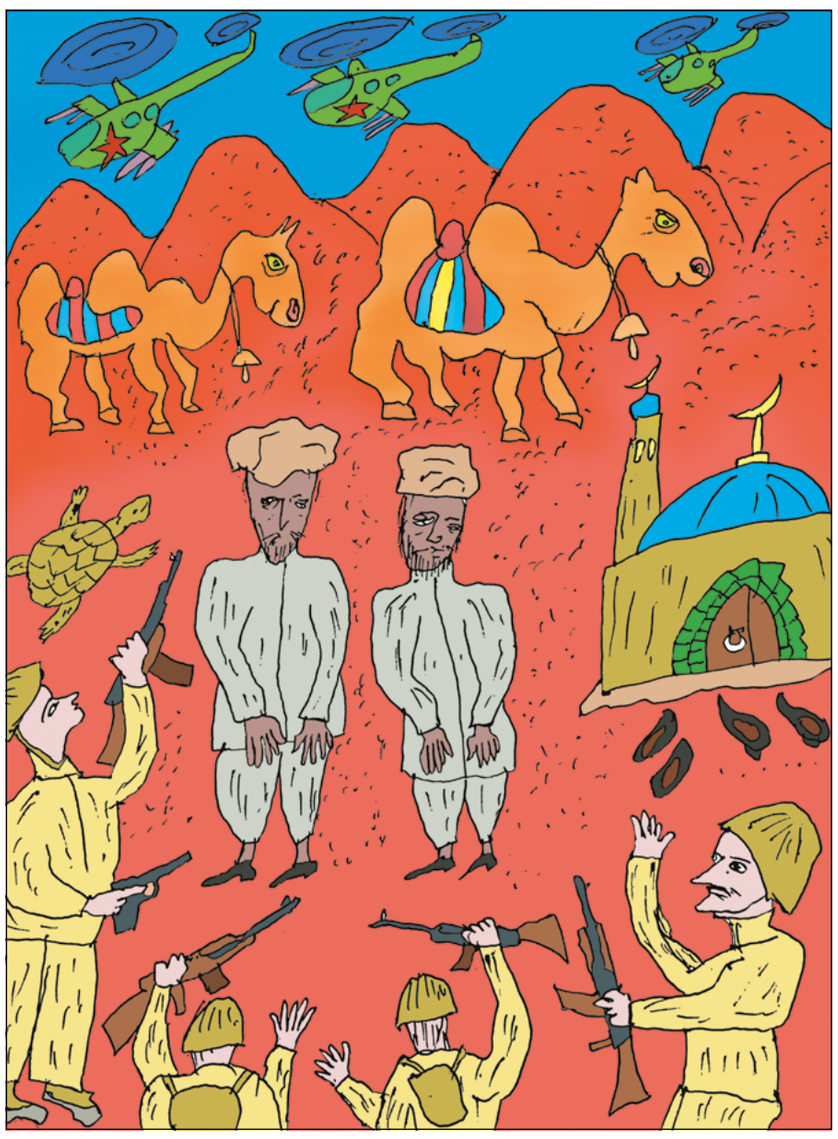


Начало — на стр. 1-3

Я видел пуски исполинских ТЭЦ, когда нажатие рубильника заставляло вращаться громадные турбины и вся степь вокруг разбегалась бриллиантовыми ночными огнями.

Я плыл по туркменскому каналу, куда из пустыни на водопой приходили верблюды. В сибирской тайге я видел строительство великих комбинатов, видел, как от Тынды на восток ложатся первые рельсы Байкало-Амурской магистрали.

Я видел, как строится моя страна, как возводятся на ней заводы и гидростанции, зарождаются новые города на Оби и целинная степь покрывается золотыми, до горизонта, хлебами, среди которых, словно красные корабли, плывут самоходные комбайны. Я чувствовал динамику страны, динамику советской жизни, её новизну и величие и слышал одряхлевшие, мёртвые, набившие оскомину слова идеологических постулатов, звучавших с трибун съездов и в передовицах партийных газет.

***МНЕ КАЗАЛОСЬ**, что для новой рождающейся технократической советской реальности нужны другие слова и образы, в ней возникают другие смыслы, и эти смыслы связаны с чем-то высоким, необъятным, манящим из будущего, с тем, что позднее назовут космическим мышлением, философией Николая Фёдорова с его "общим делом" и учением о бессмертии.*

...Мирная, гражданская техносфера, которую я постигал и изображал, постепенно расширялась и превращалась в техносферу военную. Так вышло, что я был единственным советским писателем, кому удалось описать советскую атомную триаду.

На бомбардировщике Ту-16 я поднимался с аэродрома в Орше, с грузом ядерных бомб летел в сторону Германии, и на штурманских картах значилась цель, которую мы должны были поразить, — немецкий город Целле, мощный промышленный и транспортный узел.

На атомной подводной лодке я уходил из заполярной базы в Гремихе. Моряки называли Гремиху городом летающих собак, ибо зимой здесь были такие бураны, что они поднимали в воздух собак и переносили на сотни метров.

В Белоруссии под городом Лида я посещал стратегическую ракетную часть засекреченных в ту пору "Тополей" и с тяжёлой кавалькадой машин, перевозивших ракеты, двигался по ночным дорогам под звёздами, меняя дислокацию, приближаясь к той точке, откуда был возможен пуск межконтинентальной ракеты по американским городам.

В этих поездках мне хотелось описать ощущения человека, погружающегося в ракетную шахту, где пахло маслами, лаками, кислотными и сладкими запахами ракетного топлива. Я знал, что ракета — живая. Она живёт, дышит и терпеливо ждёт той минуты, когда вырвется из шахты в огромных клубах огня и полетит через океаны.

Погружаясь в подводной лодке, я вдруг начинал испытывать странную сонливость. Моряки объясняли мне, что такое бывает с непривычки у человека, помещённого в ограниченное пространство, где много металла и мало кислорода. Участвуя в военно-морских манёврах, когда с авианосца поднимались штурмовики вертикального взлёта и уходили в туман бомбить неведомые цели, я чувствовал громадное напряжение мира, который сжимался, как стальная пружина. От этого сжатия хрустели континенты, трепетали народы, и мир, затаив дыхание, ждал, когда с чудовищным свистом начнёт распрямляться эта пружина.

Государство открывало мне свои глубинные и потаённые сферы. Мне удавалось увидеть то, что не могли видеть другие, побывать там, где не бывал советский писатель. Злые языки говорили, что я разведчик, что выполняю задания ГРУ, что мои материалы в "Литературной газете" есть утончённая форма милитаристской пропаганды. Я никогда не был в партии. И моего имени вы не найдёте в картотеках ГРУ или КГБ. Государство видело во мне государственника и открывало мне свои катакомбы. И я благодарен моему государству. Ни разу во вред ему не воспользовался добытыми мною знаниями. Это были знания художника, умевшего описать воздушный бой реактивных самолётов или ночную тревогу на военном аэродроме, когда в сумерках к самолётам бежали экипажи и в бомбовом отсеке при свете фонарей подвешивали ядерные заряды.

Я был государственником, воспевавшим силу русского оружия, за что недоброжелатели прозвали меня "соловьём Генерального штаба".

Это были не экскурсии, не развлечения, это были рабочие поездки писателя. Я врывался в неведомую мне сферу, иногда со сверхзвуковой скоростью, пронзал первый, труднопроницаемый, слой явлений, погружался в их глубину, в их гущу, осваивал их, искал в их хаосе, в их турбулентном движении порядок, метафору, искал героев моей будущей книги.

Я писал мои книги. Как пахарь идёт вслед за конём, вспарывая плугом плотную землю, извлекая из неё клубни и коренья, так я извлекал из жизни мои книги. Эти книги отмечают мой путь, они — верстовые столбы моей жизни, совпадающей с жизнью страны и народа. Позднее, когда ко мне приходило понимание высших смыслов, эти книги отмечали мой путь в мироздании.

Я жил в истории. Я жил в историческом времени. Я сам был историческим временем, был историей. История убегала вперёд, неудержимо мчалась, ускользала от меня, я стремился её нагнать, я расставлял ей ловушки. Мои романы — это ловушки, куда залетала пойманная мной история. А потом вырывалась из этих ловушек и мчалась дальше, пока не попадала в новую расставленную мною западню.

Я был охотник за историей, или, быть может, история охотилась за мной. И было неясно, кто — дичь, а кто — охотник.

Однажды передо мной явилась боевая колесница. Это была та двуколка, на которой стоял Ахилл, управляя бешеными лошадьми, проносившими его под стенами Трои. Я ступил на неё и стал "певцом боевых колесниц". И начались мои войны, скитание по войнам, охота за войнами.

Возвращаясь из Донбасса, двигаясь по раздавленным колеям там, где случился Иловайский котёл, и в полях всё ещё темнели груды сожжённых украинских самоходок, я решил подсчитать, сколько войн довелось мне повидать, сквозь какие горящие сады и падающие города было дано промчаться.

Этих войн было 16 или 17. И первая из них — те бои на Даманском, когда на талом снегу лежал убитый китаец, с его простреленной головы упала меховая собачья шапка, и из собачьего меха смотрела на меня красная звезда. Это был ошеломляющий опыт: на Даманском я видел, как одна красная звезда стреляет в другую.

И вторая схватка — у озера Жаланашколь, на границе Казахстана у Джунгарских ворот. Я сидел на склоне одинокой каменной сопки, где недавно шёл бой. По другую сторону сопки два дня на солнце лежали китайцы, пробитые пулемётами. Они страшно распухли, превратились в великанов. Казалось, эти великаны шевелятся: они были покрыты большими зелёными мухами. Из степи на трупы слетелись вороны, били клювами мёртвую плоть. И мухи тёмным роем, снявшись с мертвецов, перемахнули кромку горы и облепили меня. Мне было страшно смахнуть их с лица, страшно раздавить, ибо в каждой была капелька трупного яда.

АФГАНИСТАН. В моём платяном шкафу среди стареньких вещей всё ещё хранится панама, выгоревшая на афганском солнце.

ОСОБЕННЫЙ ДАР

ЛЮДИ ЧАСТО не вдаются в реальный смысл произносимого ими и говорят почти на автомате некие дежурные слова. К примеру, что такой-то — интересный человек. Но в этом случае за произнесённым не стоит реального содержания. И всегда вдобавок можно такое содержание девальвировать с помощью так называемых полемических уточнений. Вы говорите: "Это интересный человек". А вам отвечают: "Ну и что особенного? К тому же он для вас интересен, а для другого интересен кто-то другой". Или: "Все люди интересные, если к ним приглядеться повнимательнее".

Вступать в полемику с такими утверждениями вообще бессмысленно, но особенно, если хочешь сказать что-то серьёзное о конкретном человеке в день его рождения. Поэтому я, ни с кем не вступая в спор, скажу как на духу, что лично для меня интересный человек — это огромная редкость и огромная ценность. И что Александр Андреевич Проханов всегда, все тридцать с лишним лет моего с ним знакомства, был и остаётся для меня одним из немногих по-настоящему интересных людей. А таковыми для меня являются люди внутренне очень крупные, самобытные, талантливые, с годами наращивающие свой человеческий потенциал, мужественные, цельные. И по-настоящему живые, то есть противостоящие давлению времени, судьбы, эпохи, статуса — давлению всего, что может сделать из живого человека ходячего мертвеца, этакий прижизненный памятник самому себе.

Я вспоминаю конец восьмидесятых годов XX столетия, повальное перестроечное безумие — полноценный шабаш с почти всеобщим обесовлением. Это потом, лет этак через двадцать, можно было на телевидении отстаивать достоинство советского периода и видеть, что за тебя голосует большинство. А в те мрачные годы каждый, кто говорил "нет" перестроечному безумию, становился изгоем и обрекал себя на очень специфический тип существования внутри огромных человеческих масс, внезапно сошедших с ума, как бы не схожих в частностях, но объединённых этим безумием.

У Проханова не было никаких формальных причин для того, чтобы обречь себя на такую участь. Он, в отличие от известных мне партийных функционеров, превратившихся в антисоветских бесов, вообще не был членом КПСС. И проявлял искреннее патриотическое свободомыслие уже в те советские времена, когда подобное вовсе не поощрялось. Сказать "нет" перестроечному антисоветскому безумию и обречь себя на всё то, что тогда вытекало из такого "нет", было очень непросто.

Проханов это сделал с максимальной определённостью. И, сделав это, не превратился в одиночку, находящегося в глухой обороне. Напротив, будучи известным писателем уже в те тёмные времена, он сумел стать ещё и по-настоящему талантливым делателем газеты, создателем сплочённого коллектива единомышленников, готового и к материальным тяготам, и к идеологическому поношению. И тут Проханов проявил то, чего так не хватает в последние десятилетия — настоящий сущностный, глубокий интерес к другим.

Только этот интерес мог породить притягательность гонимой и третируемой газете Проханова и не превратить эту газету в ущербную косную, псевдо-патриотическую листовку. А ведь многие другие, став издателями и имея больше, чем Проханов, оснований для издательского преуспевания, претерпели именно эту губительную метаморфозу — издательско-публицистическое скукоживание. Проханов же начал разворачиваться, а не скукоживаться.

Став создателем газеты, чей решающий вклад в преодоление антисоветского и антирусского безумия несомненен, Проханов не отказался от своей основной профессии, а напротив, придал этой профессии совсем новое и очень убедительное качество.

Скажут: "И что тут особенного?"

Отвечаю: "А вы попробуйте выдержать то напряжение, которое раздирает на части каждого рискнувшего в тёмные времена соединить несоединимое: организацию популярного печатного органа и собственную творческую литературную деятельность!"

Проханов сумел сделать это в силу особого дара. Собственно, творческая одарённость является лишь частью этого дара. Сам же дар — это способность человека построить особые отношения с чем-то неизмеримо большим, чем он сам. Причём и человек должен быть способен входить в эти отношения с чем-то большим, чем он сам, почти на равных, не впадать при этом в высокомерие, ломающее и человека как такового, и его претензии на некое, по сути, трансцендентальное рандеву.

Я знаю, что в последнее время Александр Андреевич проявил и поэтический талант, и талант живописца. И меня это нисколько не удивляет, потому что основа всех его талантов — живая жизнь, не подвластная никаким проискам омертвляющего душу начала.

Завершая это сущностное, а не юбилейное эссе о Проханове, безо всякой иронии говорю, что не считаю невозможным написание Александром Андреевичем на новом витке творчества не только оратории, но и симфонии. Я ничему не удивлюсь именно потому, что живая жизнь, в отличие от сколь угодно помпезной смерти вживе, трансцендентально непредсказуема и потому сопричастна чуду.

Эта явная сопричастность чуду у Проханова носит скромный и настоящий характер. Она-то для меня, сколько бы ни было важно всё другое, тем не менее, важнее всего.

С днём рождения — и с ростом неукротимой яростной новизны, она же внутренняя молодость! Повторю ещё раз, что это, наряду со многим другим, ценимо мною в Проханове более всего — что никоим образом не принижает остального.

Сергей КУРГИНЯН

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА

ДЛЯ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ литераторов, рождённых в пятидесятые, Александр Проханов был загадкой. Мы, конечно, знали, что его, в недавнем прошлом интеллигента-лесника, с лёгкой руки критика Владимира Бондаренко причисляют к группе "сорокалетних", но в отличие от стайных затворников Кима, Киреева, Курчаткина он производил впечатление одинокого литературного волка, если воспользоваться выражением Михаила Булгакова из письма Сталину. Проханов выглядел как человек, недавно вернувшийся из зоны смертельного риска и озиравший окружающую сытую, мирную жизнь с неким благосклонным недоумением. Да так оно, в сущности, и было.

Возвращение из "горячих точек" нередко отмечали в Пёстром зале ЦДЛ, и я, молодой сотрудник многотиражки "Московский литератор", пробегая с вёрсткой из правления в партком через буфет, бар и ресторан, с уважительной завистью смотрел на пиршество, возглавляемое этим спецкором "Литературки" — крепким, смуглым, со взглядом отрешённым и насмешливо-пристальным одновременно. Его спецназовская стать как-то не вязалась с длинной, почти "битловской" причёской. Он был похож на командира, которого атака противника оторвала от сочинения стихов. Если прислушаться к застольному разговору его компании, можно было уловить слова: Ангола, Камбоджа, Никарагуа, Афган… А однажды я видел, как они обмывали, опустив в стакан с водкой, его орден…

После поколения писателей-фронтовиков Проханов стал, пожалуй, первым "певцом во стане русских воинов" по внутреннему зову, а не по разнарядке Воениздата. Он соединил в себе гумилёвское восхищение духовной силой бойца и футуристический восторг перед чудом современного оружия. Если собрать разбросанные по его прозе и публицистике метафоры и сравнения, касающиеся техногенной ипостаси войны, получится большая поэма. Но то, что англосаксы боготворят в своём Киплинге, наши гормональные либералы не прощают Проханову, ненавидя его до самозабвения. Кажется, критик Латынина, ныне всем кланом эмигрировавшая из России, пыталась во время Перестройки прилепить к автору "Дерева в центре Кабула" прозвище "соловей Генштаба". Хлёстко, но как-то не прижилось. Зато вот любопытная деталь: дочь самой Латыниной, став журналистом, превратилась в очевидную "кукушку Пентагона". Неприязнь — обратная сторона приверженности, и по тому, как тот или иной человек относится к Проханову, легко выявить русофоба или латентного "врагоугодника" — выражение Пушкина, между прочим. Ненависть "прогрессистов", прагматический интерес зацикленной на самосохранении власти (положительный или отрицательный) и преданное сочувствие патриотов сопровождают Проханова почти всю его литературную жизнь.

Мне посчастливилось опубликовать мою статью "Из клетки — в клетку" в пилотном номере газеты "День", которую на глазах опешивших коллег в рекордные сроки, с катковской лихостью создал Проханов, наполнив её той интеллектуальной дерзостью и тем требовательным патриотизмом — а их в конце великой советской эпохи катастрофически не хватало КПСС, — которые так и погибли, не очнувшись от правящей летаргии. На логотипе под названием "День" стояло: "Газета духовной оппозиции". Все, кто понимал, "куда влечёт нас рок событий", с нетерпением ждали очередной номер еженедельника с блистательно-беспощадной передовицей Александра Проханова и завёрстанной над колонкой главреда феерической графикой Геннадия Животова — русского Домье.

Неслучайно редакцию "Дня" в дни ельцинского антиконституционного мятежа взяли штурмом, разгромили и закрыли, как в 1917-м "Правду". В последнем номере была напечатана глава моей повести "Демгородок". Приехав в редакцию за авторскими экземплярами, я наткнулся там на галдящую ватагу камуфляжных персонажей, похожих на музыковедов, призванных на военные сборы. Они объявили мне, что никакого "Дня" нет и никогда не будет, что Проханова скоро найдут и расстреляют, а мне лучше бы убраться — иначе… А дальше, точно, как у Твардовского: "Припугнуть ещё желая: "Как фамилия?" — кричит…" У меня хватило ума не назваться, ведь в моей сатирической повести Ельцина с присными посадили в "Демгородок" — строго охраняемое садово-огородное товарищество. Однако вскоре газета духовной оппозиции возродилась под названием "Завтра", и вот уже три десятилетия является средоточием ищущей державной мысли и генератором воли к сопротивлению разрушителям Отечества.

Но даже такой грандиозный и успешный проект, как "День"-"Завтра", не заслонил писательский труд Проханова. Для меня непостижимо, но человек, ежечасно вовлечённый в актуальную журналистику и сложнейшую политическую борьбу, постоянно писал, кроме разящей публицистики в номер, прозу! Его романы без осечек, с завидной регулярностью, как точно посланные снаряды, взрывали гедонистическую гниль болота "новой российской литературы". "Последний солдат империи", "Дворец", "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Господин Гексоген", "Убить колибри", "Виртуоз", "Крым", "Убийство городов", "Теплоход "Иосиф Бродский"… И каждый роман становился событием для тех, кто знает цену слову.

Но, по моему убеждению, прозаик Александр Проханов ещё по-настоящему не прочитан, не понят, не оценён, не изучен, не признан… Для доминирующих в отечественной словесности кураторов и авторов "Букервальда", которые изготавливают тексты из отходов великих литературных предшественников методом холодного отжима, а потом клеят на них этикетки с оливковыми венками, для них Проханов — красно-коричневый фанатик, по определению не способный на "адекватный современный контент". На самом же деле, автор "Востоковеда", пожалуй, единственный в нашей литературе писатель, кому удалось имперскую мысль и цветущий консерватизм воплотить в слово, открытое всем стилистическим новшествам литературной эпохи, наполнив бесплодную игру постмодернизма подлинным, жизненно важным смыслом. Он мне чем-то напоминает Грибоедова, архаиста по взглядам, но писавшего на прорывном языке, современном до сих пор. Надо ли удивляться, что в школьной программе, где наличествуют Быков, Улицкая, Яхина, Акунин, Проханова нет. Наше государство до икоты любит блудных сыновей, и у него всегда готов нож, чтобы заколоть для возвращенца самого жирного тельца. А верные сыны — куда ж они денутся?

И ещё не могу не вспомнить один любопытный эпизод. В середине 1990-х я вёл на канале "Российские университеты" несколько передач, одна из них называлась в духе времени — "Звёздная семья": в студию приглашался известный человек, как говорится, с чадами и домочадцами. И вдруг я предложил позвать Проханова. Сначала все оторопели. 1995 год, ещё из столицы не выветрилась гарь расстрелянного Верховного Совета, в глазах победивших либералов главред "Завтра" — монстр воинствующего красного патриотизма. А ТВ демонизировало его не хуже Чикатило. Тем не менее тогдашнее телевидение ещё не напоминало кентавра с государственным торсом и блудливым крупом испорченного скакуна. Зачистка случилась позже, после выборов 1996-го "Университеты" закроют, а частоту отдадут верному НТВ.

— А почему бы и нет? — задумалась наш режиссер Роза Мороз. — У нас свобода слова. Но ведь он будет нести в эфире свою пропаганду!

— Не будет.

— Ну смотрите, Юра, под вашу ответственность!

Встреча проходила в форме студийного чаепития. Александр Андреевич пришёл с женой Людмилой Константиновной и детьми, тогда ещё совсем юными. Не буду утомлять читателя подробностями, скажу лишь, что съёмочная группа потом долго не отпускала Проханова, очаровавшего всех своими умными, тонкими, остроумными, образными ответами и рассказами. Даже Роза Михайловна, весьма либеральная дама, сказала мне, когда, наконец, героя передачи отпустили:

— Какой красивый человек! Какая красивая семья! Он совсем не такой, как я думала…

О том, что Проханов — удивительный рассказчик, общеизвестно, и я сам однажды чуть не опоздал на поезд, заслушавшись, когда он выступал на сцене ЦДЛ. Если бы сидевшая рядом Катя Глушик не напомнила мне о рейсе, точно не успел бы… Кстати, его вдохновенные, завораживающие, полные смелых развёрнутых метафор и мыслей импровизации приоткрыли мне дверь в его писательскую лабораторию. С тех пор, читая прозу Проханова, я слышу его голос. Не знаю, есть ли записи, где он сам читает свои романы? Если нет, это непростительная ошибка…

Однажды на теплоходе (не "Иосиф Бродский") мы вместе с Александром Андреевичем путешествовали по Волге, говорили, сидя на палубе и глядя на проплывающие берега с новенькими храмами, о литературе, о политике, о газете, о его любимом детище — "Изборском клубе", о возвращённом недавно Крыме и о тех сдвигах, которые в связи с этим начались в России и в мире.

— Александр Андреевич, как думаете, чем это кончится? — спросил я.

— Да что вы, Юра, — ответил он, — это только начало…

Юрий ПОЛЯКОВ

ГЛАШАТАЙ

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА есть мечта. Есть она и у Александра Андреевича Проханова. Но разница в том, что мечты обычных людей касаются почти всегда их самих: их будущего, успехов, достижений, приобретений, близких, детей, родственников. Люди мечтают о любви, семье, удаче, карьере, здоровье, долголетии, славе. Чаще всего такие мечты имеют строго определённые границы — они внутри личного горизонта. Мало кто мечтает о чём-то, намного выходящим за круг индивидуальных интересов. Проханов здесь исключение.

Как только он начинает мечтать, то его мысль делает невероятный головокружительный скачок. Всё личное, близкое, уютное, всё соизмеримое с индивидуальностью и её масштабами мгновенно отступает на второй план, гаснет — теперь этого и не найти. Мечта, словно бабочка кокон, покидает человеческие границы — тела, души, ума — и превращается в гигантское крылатое существо, взмывающее в небо, обрушивающееся на землю, пронизывающее её, чтобы снова взметнуться в бесконечную вертикаль.

Бабочка, птица, дракон, ангел… Мечта Проханова имеет огромную размерность. Это мечта не о себе, не о своём, не о том, о чём принято мечтать. Это мечта о России, Руси, о великой бесконечной Родине. О том, как она живёт, и о том, о чём она тоскует, о том, как она страдает и как радуется. О том, чем она была изначально и чем будет в последние времена. Это мечта о настоящем, о том, чем Россия является здесь и сейчас и чем она в то же время фатально не может стать.

И вот уже мечтает не Александр Андреевич Проханов, а кто-то ещё… Кто-то мечтает сквозь него — а он лишь даёт этой мечте проявиться, быть — сквозь себя, через себя, помимо и вне себя. Такая мечта есть русский экстаз. Экстаз (ἔκστασις) по-гречески — выход из себя, смещение центра, полюса. Пока человек мечтает о себе, он и есть полюс, он пребывает в себе. Проханов учит делать не так. Надо, наоборот, выйти из себя, открыться стихии родного глубинного земного бытия, и этот экстатический выход за пределы даст возможность Родине, Руси зажить своей собственной жизнью, выпростать своё скрытое бытие. Так понимает мечту не простой мечтатель, а поэт, пророк, провозвестник, глашатай.

Проханов именно таков. Он живёт русским экстазом, и пробуждение русских токов и определяет его бытие — в искусстве, мысли, политике, творчестве. Здесь, впрочем, всё одно — никакие рамки конкретного ремесла не вместят в себя полноты этого священного дыхания русской бездны. Все сектора и профессии слишком узки. Если собрать на поле весь наш народ — мечта не вместится в него. Не будет она полной, даже если добавить к этому всерусскому земству мёртвых и ещё не родившихся. И в этом случае вместить полностью этой мечты нельзя, не получится. Она разорвёт любые рамки, любое число перед ней окажется бесконечно малым. Но тот, кто озарён ею, тот ей сродни — и он легко преодолевает границы. Ведь русская мечта трансцендентна.

Александру Андреевичу Проханову исполняется 85 лет. Боже, как много! Но и эти цифры ничего не говорят ни о чём. Поставьте их рядом с масштабом русской мечты, и это — крохи, самая малость, горсть, просто ничто.

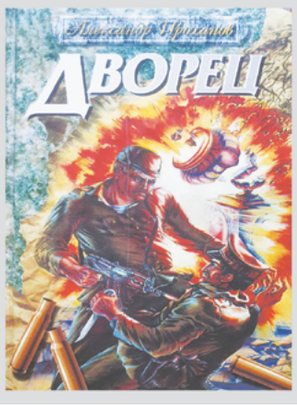
Те, кто предан, как Проханов, русской мечте, воскресают ещё не умерев, при жизни. Если она наше содержание, то у нас больше нет возраста, или иначе: мы старше и одновременно младше любых границ.

Русский человек есть тот, кто был, есть и будет всегда. И мечтает он о том, что вечно, что вечно есть. Это сама Россия, Россия как таковая, в своём глубинном и нерасторжимом самотождестве — она, как купина, горит и не сгорает, умирает и оживает вновь, кончается и никак не кончится, потому что у неё несть конца. Россия — это всегда только начало. Русское начало не хочет начаться (начинайте уже…) так, чтобы идти к концу. Оно идёт в ином направлении. И Проханов в своей судьбе — мудрой с юности и бодрой в возрасте патриархов — всегда только начинает. Он не взрослеет с годами — та же ирония, тот же едва спрятанный тонкий юмор, та же сила, та же ясность пронзительной мысли. Секрет такой стойкости в том, что Проханов не просто Проханов, но кто-то намного больше. Он — взрывающийся сосуд русского начала. Он — путь русской мечты. И что тут говорить о возрасте, о дне рождения. У таких людей (а есть ли ещё они, такие люди?) каждый день — день рождения. Ведь каждый день в нашем русском календаре посвящён святому, а чаще всего — сразу нескольким святым, и так много из этих святых — русские. Если мы русские, то это наши святые, наш день, наше рождение. Так насыщенно, плотно и живо может ходить по земле только тот, внутри которого плещет живая вода небес. Русская земля — это лишь наша часть. Ещё есть русское небо, и оно внутри нас, вплотную к нашей земле. В русском человеке осуществляется брак неба и земли. Это и есть мы сами. Проханов знает об этом. И грезит об этом, и пишет, и говорит, и поёт. Он пророчествует.

Когда Родина клонится к бездне, её дети воют от боли. Когда Родина возвращается на свою русскую стезю, её дети кричат от радости. Но и то, и другое — неразрывное единство, идущее сквозь века, эпохи, режимы, фазы. Это диалектика русской мечты. Мечты Александра Проханова.

Нужно ли нам помогать ему в этом? Участвовать, охранять, продолжать его дело? Это важно для нас — если мы русские, то это — наша мечта, это — наш Проханов, это просто и есть мы… И выбора у нас нет никакого. Быть русским — это уже решение. Обратной силы не имеет. И дальше начинается шквал бытия. Дальше начинается русский мир и русская война, русская любовь и русская смерть, русское всё.

Но сам Проханов самодостаточен. Он решил проблему Родины, став с ней одним и тем же. И она стала им, заговорила его устами, начала двигать его пером, мерцать в его всё более проницательном, уходящем в глубину взгляде.

Дорогой Александр Андреевич! Оставайся здесь, сколько захочешь. Но при этом ты уже всё сделал, родившись русским и приняв Россию как свою судьбу, как свою мечту. Бесконечность нельзя ограничить или измерить. Ею можно только быть.

Александр ДУГИН